

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



ИСТОРИЯ
РУССКОГО
РОМАНА

в двух томах



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

1 9 6 2

У истоков русского романа

ГЛАВА I

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА РОМАНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1

Существовал ли роман в древнерусской литературе? Если понимать этот термин широко и признавать законность термина «позднеэллинистический роман», то ответить на этот вопрос безусловно следует положительно.

В одном из последних исследований «Девгениева деяния» довольно убедительно доказывается, что слово «деяние» следует переводить как «роман».¹ Слово «деяние», утверждает исследователь, «как нельзя лучше подходит к значению греческого слова *δράμα*, но не в его классическом смысле, т. е. в смысле драматического представления, а в позднем, византийском значении *романа*».² Исследователь пишет: «Деяние, о котором говорится в заглавии, покрывает собой и историю любви родителей Девгения, арабского эмира, имя которого (Амир) оказывается просто его титулом, и безымянной дочери безымянной же вдовы, историю ее похищения эмиром, рассказ о поисках ее братьев, о переговорах между ними и эмиром, о его переходе в христианство и уходе из Аравии, о его свадьбе, о печали его матери, о посылке ею послов к эмиру, о возникших из этого недоразумениях между эмиром и его шурьями, наконец, о рождении Девгения и его быстром возмужании, о его доблестном поведении, выказанном на охоте, о его столкновении с Филипапой (Хилиопапой) и амазонкой Максимо, о его победе над ними, далее историю его любви к безымянной стратиговне, о его похищении ее, о битве между ним и отцом и братьями ее и о его свадьбе, и под конец историю его конфликта с византийским царем, его победы, его воцарения».³

По существу переведенный у нас «роман» о Девгении был романом позднеэллинистического типа, романом византийским. Это был роман приключений или роман «деяний» одного героя. Типичным представителем этого романического искусства было и другое переведенное у нас еще

¹ А. И. Стендер-Петерсен. О так называемом Девгениевом деянии. «Scando-Slavica», t. I, 1954, стр. 87—97.

² Там же, стр. 96.

³ Там же, стр. 95—96.

в Киевской Руси произведение — «Александрия». Здесь главной приманкой для читателя служили не только подвиги героя, Александра Македонского, но и описание чудесных стран, в которых он был со своим войском. Это был не только «роман приключений», но и «роман путешествий».

В переводной литературе найдем мы и другие произведения, близкие к отмеченным нами «романам»: «Повесть о Казарине» или «Повесть о Варлааме и Иоасафе», но «романы» эти были романами только в условном значении, и рассмотрение их должно по существу интересоваться историков эллинистической и византийской литературы больше, чем русской, ибо, как бы ни пытались мы найти нечто похожее в литературе оригинальной, чисто русской, нам это не может удасться.

Правда, в Киево-Печерском патерике читается романическое повествование «О блаженном Моисее Угрине», но это нечто другое: здесь рассказана романическая история любовных домогательств знатной плячки к незнатному венгерскому юноше Моисею, но особых перемен в судьбе обоих не наступает, и всё развитие повествовательного сюжета приостанавливается перед неприступным целомудрием юноши.

В сущности мы должны признать, что древняя русская литература (не переводная, а оригинальная) на всем протяжении ее развития, вплоть до XVII века, не знает ничего, что хотя бы отдаленно напоминало собой роман: роман ли приключений, роман ли путешествий, роман любовный или какой-либо другой в его эллинистических, византийских или западноевропейских средневековых формах.

На основании ряда признаков мы можем думать, что роман об Александре Македонском интересовал древнерусских читателей не как роман, а как историческое произведение об одном из самых крупных лиц мировой истории. «Повесть о Варлааме и Иоасафе» была для древнерусского читателя прежде всего житием святых. «Девгениево деяние» воспринималось также прежде всего не как роман, а как произведение об историческом прошлом: своей романической стороной оно заинтересовало читателей только в XVII веке, а отчасти и в XVIII веке, когда оно становится особенно популярным. Следовательно, позднеэллинистический и византийский роман не был у нас романом и новых романов этого типа у нас не создавалось.

Почему же это так происходило?

Причиной тому особый взгляд на письменность, господствовавший и в раннем, и в зрелом периоде феодализма на Руси, вплоть до XVII века. Читатели этого времени предъявляли литературе требование касаться только наиболее значительного, важного, — важного и в религиозно-нравственном, и в историческом смысле. Литература была училищем благочестия и училищем патриотизма. Она должна была говорить об устройстве мира и о его истории. Из этих повествований должны были вытекать назидательные выводы. Развлекательность допускалась лишь постольку, поскольку она оправдывалась любознательностью и прикрывалась «серьезностью» излагаемых в произведении мыслей и нравочений.

В литературе можно было говорить лишь самую непосредственную правду. Вымысел же, открытый вымысел во всяком случае, в литературе не допускался. Всё, о чем писалось в произведениях древней Руси, выдавалось за действительно происшедшее или действительно существующее.

Читая о чуде в Невской битве, когда ангелы, летая над полем битвы, с высоты избивали вторгшихся на Русь шведов, читатели верили или обязаны были верить в полную правдивость этого рассказа. Читая о чуде, которое посмертно совершили Борис и Глеб, освободив из затвора узника, читатели не только верили этому чуду, но и находили в нем определенный политический смысл, отклик на свои антикняжеские настроения.

Вера в чудо была настолько велика, что она могла соединяться с юмором: читателей восторгала догадливость киево-печерского монаха Федора, заставившего докучавших ему бесов вертеть жернов и смолоть за ночь пять возов пшеницы, а в другой раз — перетаскать от Днепра на гору бревна для строившейся церкви и даже разложить эти бревна по сортам.

Летописи, жития, различные сказания очень часто ссылаются в древней Руси на свидетелей, на «послухов» и на письменные источники своих повествований. Украшая свое повествование о прошлых событиях стилистически, они не рискуют снабжать его откровенно вымышленными, оживляющими подробностями, всем тем, что со средневековой точки зрения не могло быть увидено, услышано свидетелями или описано в письменных источниках — в предшествующих повествованиях о том же, в документах, в летописи и т. д. В этом проявлялся особый, средневековый историзм русской литературы XI—XVI веков, историзм, не столько подчиненный средневековым представлениям об истории и расширявший познание исторической действительности, сколько его сужавший, ограничивавший художественное обобщение, подчинявший изложение единичному факту, документу и как бы скрывавший вымысел там, где он фактически всё же имелся.

Древнерусские читатели могли с увлечением читать «Александрию», ее рассказы о диковинных людях и диковинных странах, о великанах с львиным обличьем, о безголовых людях, амазонках и стране блаженных, но они не могли «Александрию» сочинить, ибо, переведенная с греческого, она казалась им исторически правдивой, почти документом, в сочинении же подобного произведения выступили бы явственно выдумка и ложь.

Литературное повествование в древней Руси в некотором отношении претендовало быть документом, притязало на строгую фактичность, поскольку, впрочем, эта фактичность была доступна средневековью. Различие между повествовательным произведением и документом до известной степени стиралось.

Вот почему все новые произведения о прошлом носили в древней Руси в той или иной мере характер компиляций, сводов предшествующих произведений, новых их редакций, сохранявших фактическую сторону старых произведений и не вносивших новых.

Естественно, что всё это ограничивало вымысел и сковывало воображение. Средневековый «историзм» препятствовал развитию повествовательных жанров, развивая обостренное чувство факта и заставляя ценить грубую достоверность.

С этим «историзмом» был связан и ряд других явлений, касавшихся уже самого художественного метода литературы, особенностей жанровой природы произведений и т. д. Явления эти постепенно преодолевались, но, чтобы понять их преодоление, надо присмотреться к ним самим, так как только это поможет нам понять, почему самый жанр романа не мог появиться в XI—XVI веках и почему он стал возможен на переходе от древней литературы к новой.

Прежде всего отметим, что со средневековым «историзмом» древнерусской литературы сочеталась и известная ограниченность в изображении внутренней, душевной жизни. Приверженные факту повествователи предпочитали говорить о поступках своих героев, об их подвигах, исторических деяниях, о всем значительном, исторически важном, но не о душевной жизни героев, о которой у них не было свидетельств и свидетелей. Повествовательная литература отмечала по преимуществу события и поступки, и то только наиболее значимые с точки зрения исторических воззрений своего времени. Она почти не касалась быта, она не вводила описаний природы самой по себе, ее интересовали не душевные колеба-

ния, а решения, не чувства героев, а их внешние проявления, не внутренний смысл того или иного душевного движения, а лишь его «результат», если только при этом он имел какие-то «исторические» последствия. Такой подход к изображаемому делал повествование особенно лаконичным, особенно «монументальным». Литература различала только крупное, мыслила всякое явление только в масштабах всей Русской земли, всего княжества или всего города.

В повествованиях XI—XIII веков вместо живого человека часто выступает как бы его эмблема, геральдический знак. Общественное положение человека узнается по присущим этому общественному положению признакам и по тем особым добродетелям, которые с этим положением связываются. Перечисляя добродетели князя, писатель пишет, что он был «хорообр», «крепок на рати», «страдал от всего сердца» за свою отчину, был милостив к сиротам и «думен», т. е. советовался со своей дружиной. Это добродетели князя; другие добродетели у епископа, святого монаха, у святого отшельника, у мученика за веру и т. д. Почти также в церковной живописи: апостол Петр узнается по ключу, который он держит в руке, пророки опознаются по свиткам в их руках, отдельные святые — по форме бороды, по форме волос на голове, по одеждам и т. д.

Говоря о своем князе, летописец постоянно изображает его в парадных и официальных положениях: князь во главе своего войска; князь въезжает в город, его радостно встречают жители; князь первым кидается в битву и первым «ломает копье», его сажают на «стол», он принимает послов, ведет переговоры о мире и т. д. Перед нами несколько церемониальных положений, из которых каждое годилось бы для печати князя как его эмблема.

Князь предстает перед читателем в ореоле власти, во всем блеске своего княжеского достоинства. Летописец фиксирует его слова, передает их в наиболее обобщенной форме — почти как сентенции, подчеркивает их мудрость и дальновидность.

С другой стороны, враг изображается обычно в момент своего гордого и самонадеянного выступления в поход или в момент своего поражения, когда он с позором бежит, «обернув плечи», или обнимает ноги победителя.

Личным вкусам, привязанностям, привычкам, личным событиям жизни своих героев, бытовой обстановке писатель уделяет место в исключительно редких случаях: когда это отражается на судьбе героя или на исторических событиях.

Душевная жизнь, психология человека интересовала на первых порах только авторов церковно-назидательных сочинений, но и там эти душевные движения трактовались как некие вечные явления человеческой души, свойственные в той или иной степени самой природе человека. И в этой церковно-назидательной литературе отдельные психологические наблюдения никогда не применялись к какому-либо конкретному человеку. Литература, следовательно, либо описывала конкретных, исторически значительных лиц, но только в их исторически значительных поступках, либо говорила о внутренних душевных переживаниях, но не прикрепляла их к какому-либо живому, реальному носителю, а обсуждала их в назидательных целях под знаком вечности. И в том, и в другом случае, с двух противоположных сторон, литература избегала всего того, что могло показаться незначительным, узко частным. Все частное казалось неинтересным, и повествование переносилось в сферу грандиозного, крупного, значительного. Так выработался стиль «монументального историзма», безраздельно господствовавший в XI—XIII веках и не допускавший появления всех тех элементов, из которых мог сложиться будущий

роман. Вся эта система стиля «монументального историзма» была строго подчинена интересам феодального класса, защите основ иерархического устройства феодального общества, защите идеи главенствующей роли князей и крупнейших представителей церкви во всех исторических событиях. Все посторонние вторжения в этот стиль шли снизу — от народа и сыграли, как это мы увидим в дальнейшем, огромную роль в прогрессивном движении литературы к более сложному изображению действительности.

Далее, с чем мы должны считаться, рассматривая причины, по которым жанр романа был совершенно чужд литературному творчеству древней Руси, это особая природа самих литературных жанров. Жанры в древней русской литературе имели не только литературные функции. Летописи были произведениями историческими и юридическими, необходимыми в политической жизни княжества. Их даже возили в обозе войск, как это было в походе Ивана III на Новгород. Жития святых читались в церкви и в монастыре. Они подразделялись на несколько видов в зависимости от их чисто церковного назначения (жития проложные, патеричные, минейные и др.). Проповеди, послания, поучения, как это видно уже по самим их названиям, применялись в церковной жизни по преимуществу, имели утилитарно-церковное назначение. Сборники типа «Пчелы», «Златоструя», «Златой чеши» и т. д. предназначались для чтения назидательного и церковно-практического, как пособия для произнесения проповедей и как материал для самообразования. Космографии, физиологии, «хождения» и пр. были явлениями не только средневековой литературы, но и средневековой науки. Только постепенно вырабатываются жанры чисто литературные. Этот процесс идет крайне медленно в XI—XVI веках и совершается с изумительной быстротой в веке XVII — на переходе к новому времени.

Роман мог возникнуть только на известной, при этом вполне развитой, стадии развития литературы, в пору, когда в свои законные права вступил художественный вымысел, когда литература стала действительно литературой и полностью отделилась от своих «деловых» и церковных функций, стала стремиться к занимательности, а затем и к широкому художественному обобщению. Теперь вниманием литературы стал пользоваться рядовой, лишенный высокого общественного положения, ничем не примечательный человек. Литература получила возможность интересоваться его внутренней жизнью, а потому отнюдь не «исторические», а обычные, присущие каждому человеку чувства, мысли, заботы и волнения заняли в литературных произведениях соответствующее место. Стало понятным желание человека выделиться из своей среды, человек вступил в борьбу за свое личное счастье и вошел в конфликт с окружающим миром.

Судьба рядового человека, сперва понимаемая в магическом смысле, с магической персонификацией этой судьбы в виде Гора Злочастия или беса, а затем вполне позитивно — как следствие его личных качеств, став центром литературных интересов, создала первые повествовательные произведения, включившие в себя элементы будущего романа.

Рассмотрим, как постепенно, шаг за шагом, создавались задолго до первых романов предпосылки для их появления.

2

Внутренняя жизнь отдельного человека (человека церкви или человека государства) начинает усиленно интересоваться составителей житийно-панегирических и исторических произведений с конца XIV — начала XV века.

По существу и в XI—XIII веках стиль «монументального историзма» был только господствующим стилем, но не единственным. В литературе XI—XIII веков мы найдем множество исключений, свидетельствующих о воздействии фольклора на литературу, о живых интересах писцов рукописей к психологии людей, к их частной жизни и личным чувствам, к изображению быта и природы. Эти исключения мы найдем и в летописи, и в житиях святых, и в проповеди, но больше всего их в наиболее известном произведении древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве». В «Слове» мы видим по существу соединение двух стилей — монументально-исторического и народно-поэтического, судить о котором мы можем лишь отчасти по неполным остаткам его в том же «Слове о полку Игореве», в летописи и в некоторых других исторических произведениях, но отнюдь не по позднему народно-поэтическому творчеству XVII—XX веков, представляющему поздний, исторически сложившийся этап в развитии фольклора.

Вполне новый и цельный стиль в литературе развивается только с конца XIV—начала XV века, и строится он на основе интереса к психологическим состояниям человека.

Под влиянием начавшейся централизации государственной власти, новых социально-экономических условий, выдвинувших государственные интересы выше феодально-иерархических и породивших потребность в людях с высокими психологическими качествами, могущих преданно служить единому складывающемуся государству, интерес к внутренней жизни человека достиг крайней степени напряжения. Этот интерес усиливался веяниями южнославянского и византийского Предвозрождения, явившимися на Русь вместе со вторым южнославянским влиянием.⁴

Писатели живописуют с необыкновенной экспрессией гнев, ярость, любовь, терпение, зависть, ужас, чувство преданности до гроба, стойкость в вере, молитвенный экстаз, благоговение, непомерное честолюбие и т. д. Описание этих чувств, их бурных проявлений достигает очень большой экспрессии в литературе этого времени, особенно в Русском хронографе, в произведениях Епифания Премудрого и Пахомия Серба.

Стиль хронографа экспрессивен и чрезвычайно эмоционален. Автор прерывает себя восклицаниями, говорит о своих чувствах и о чувствах своих героев. Поступки людей, согласно хронографическому повествованию, обусловлены внутренними побуждениями. Христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Неистовая злоба, ярость, гнев, зависть, гордость двигают поступками злых. Благочестие и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия. Характеристики людей крайне экспрессивны. Стремление к грандиозности изображения, к гиперболам пронизывает изображение. Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди проливают «тучи слез», плачут по восьми месяцев подряд. Описания рыданий необыкновенно экспрессивны: люди руками «терзают» волосы на голове и бороду, бьются головами о землю.

Гнев, зависть до того велики, что служат иногда причиной смерти человека. Одержимые страстями, люди бессильны совладать с ними. Страсти персонифицируются, предстают в виде диких зверей (ярость — лев; хитрость — лисица и т. д.). Отсюда сравнение человеческого сердца со звериным логовом.

⁴ См. подробнее: Д. С. Лихачев. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. Изд. АН СССР, М., 1958 (IV Международный съезд славистов. Доклады).

Литературное повествование пронизывается панпсихологизмом. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Земля не выносит злодейств императора Фоки-мучителя и испускает «безгласные вопли». При ослеплении императора Константина «сами стихии о беде плакали». Как одушевленные существа, ведут себя и города — Рим, Константинополь, Антиохия, Иерусалим. При этом всё движется резко и бурно, ничто не стоит: всепожирающие звери, бушующее море, тучи, ветер. Всё полно одушевленного движения, всё смятенно, всё ужасно, всё полно тайн и скрытого смысла.

Новый эмоционально-экспрессивный стиль в изображении человека находит отклик и в словесной форме, отличающейся резкой эмоциональностью. Изложение пронизывают многочисленные синонимы, сравнения, тавтологические сочетания, восклицания. Авторы часто твердят о том, что они бессильны описать события, внутреннюю жизнь человека, что им недостает слов и т. д.

Интерес к человеческим чувствам, страстям, резким душевным движениям, бурным проявлениям внутренней жизни человека привел к значительному обогащению литературы, однако характер человека еще не был открыт, внутренняя жизнь человека не имела еще развития — она была намечена только экстатическими взрывами чувств. В душевной жизни человека не замечалось развития, изменения происходили в нем мгновенно, под влиянием внезапных решений. Чудо занимало в этих переменах заметную роль, особенно в житиях святых, когда святой крестил язычников, когда сам он обращался к богу, принимал решение искать уединения в отдаленной местности и т. д. Чудо приходило на помощь писателю в тех случаях, когда ему надо было описать резкие перемены в человеке.

Жития святых и хронографическая литература начинали живописать кризисы душевной жизни человека. Человек, деятель истории (это особенно касается хронографа, а с XVI века и летописи) предстал перед читателем не как вневременная неизменяемая сущность, а со своей личной историей: одним он был в юности, другим оказывался в среднем и старческом возрасте.

Именно этот внезапный перелом, но уже не объясняемый чудом, изобразил в XVI веке А. Курбский в «Истории о великом князе московском». У Курбского Иван Грозный в начале своего царствования добродетельный и мудрый государь, в конце же — злодей, мучитель и безрассудный тиран.

XVI век отмечен чрезвычайным интересом к биографиям исторических деятелей. Создается грандиозная портретная галерея деятелей русской истории — «Книга степенная царского родословия». В этих биографиях есть уже некоторые попытки изобразить душевные перемены без обращения к чуду как литературному приему. Еще больше этого стремления в «Летописце начала царства», посвященного биографии современника — царствующего Ивана Грозного, где с педантической обстоятельностью описываются все важнейшие события его царствования в приподнятом стиле и с пышной торжественностью, но где решениям Грозного приданы уже некоторые объяснения.

Несколько позднее «Летописца начала царства» создается и другой памятник, где идеализированная история Грозного играет существенную роль, — «История о Казанском царстве».

Изложение всех этих исторических сочинений XVII века, и в первую очередь Степенной книги, густо насыщено краткими характеристиками действующих лиц. В них отмечаются и внутренние побуждения, внутренние свойства действующих лиц, но «психологизм» этот только этикет-

ный — не более. Русские князья в них получают характеристики вполне официальные — они «благочестивы», «премудрости и разума исполнены», «кипят духовным благоговием» и пр. Похвала князьям и церковным деятелям демонстрирует трудолюбивые усилия авторов создать пышные образы деятелей русской истории, обессмертить их память.

Придворный этикет подчиняет себе все попытки описать внутреннюю, душевную жизнь. Действующие лица ведут себя так, как им полагается в том или ином случае. Робкое «самосмышление» повествователя никогда не выходит за границы дозволенного и рекомендованного тому высокопоставленному лицу, о котором он рассказывает.

3

События «Смуты» начала XVII века сыграли выдающуюся роль в росте новых представлений о человеческой личности и в развитии повествовательного искусства. В число исторических деятелей самой историей были введены отнюдь не родовитые личности: «говядарь» Минин, безродный Болотников, многочисленные авантюристы-самозванцы и т. д. Сама действительность способствовала широкому обсуждению на земских соборах личностей, характеров, политических убеждений отдельных претендентов на царский престол. На «всенародных собраниях», в ополчениях и среди восставшего народа обсуждались те или иные деятели «Смуты»; политические «переметы» перебежали из одного лагеря в другой, а затем каялись, оправдывались, объясняли перемены своих убеждений и своей ориентации, выставляя тем самым напоказ все дремучие закоулки своих несложных душ.

В 1598 году состоялись первые выборы русского государя «всею землею». Характер государя стал предметом горячего обсуждения и споров. Будущий монарх, его способности, убеждения обсуждались в боярской думе, на соборах, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, когда народ, подгоняемый приставами, «молил» Годунова царствовать в стране. Всё это, вместе с последовавшей затем крестьянской войной, вытравило из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду неподсудному началу. Отсюда изменялись и представления о государственных деятелях. Было открыто, что человек совмещает в себе и хорошие, и дурные черты, что черты эти складываются в определенный характер, что характер человека слагается постепенно под влиянием событий личной жизни и т. п.

Совершенно новое высказывание о правителях можно встретить в начале XVII века во многих произведениях, касавшихся событий «Смуты»: в «Словесах дней и царей» Ивана Хворостинина, в «Повести» Катырева-Ростовского, в «Сказании» Авраамия Палицына и др. Но особенно интересны эти высказывания во второй редакции Русского хронографа: «никто из земнородных не бывает чист от дьявольских ухищрений», «у каждого из земнородных ум может ошибаться и от доброго нрава совращаться злыми людьми» и т. д. Характеристики людей впервые становятся сложными, противоречивыми, сотканными из добрых и злых свойств характера. Авторы некоторых произведений (Иван Тимофеев) прямо заявляют, что они обязаны писать о добродетелях Годунова, поскольку они писали и о его злонаправии. Тимофеев считает даже, что только тогда никто его не упрекнет в несправедливости, когда он похвалу Борису Годунову будет соединять с упреками. Если же характеристика его будет только положительной или только отрицательной, то тем самым «обнажится» его «неправдование», т. е. необъективность.

Очень много внимания уделяют авторы начала XVII века различного рода мнениям о том или ином правителе, слухам о том, как относились в народе к тому или иному государственному деятелю. Говорится, например, о слухах, которыми сопровождалось убийство царевича Дмитрия, ссылка Нагих в Углич, возведение на патриаршество Филарета Никитича (отца будущего Михаила Романова) и т. д.

Человеческий характер показывается, следовательно, на фоне толков о нем. Народная молва окружает исторического деятеля. Государственный деятель перестает, следовательно, быть единственным вершителем исторических судеб своей страны. Постепенно всё больше и больше осознается роль народа.

Открытие писателями человеческого характера еще отнюдь не походило на то настоящее его открытие, которое произошло у писателей-реалистов XIX века, но и оно было достаточно выразительным. Было обнаружено, что свойства человеческой личности противоречивы, что эти свойства в известном смысле неповторимы, слагаются в целостное явление, в только данному человеку свойственное сочетание, что характер человека воспитывается средой, обстоятельствами его биографии и в какой-то степени может меняться, определяя в то же самое время его поведение.

4

Замечательно, что чем сложнее становилось изображение внутренней жизни человека, тем сложнее становилось и описание окружающего его мира, природы, быта, народа, исторической изменчивости мира и т. д.

Связь появления литературного пейзажа с усложнением представлений о душевной жизни несомненна. В XI—XIII веках отдельные, очень краткие картины природы (в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского) имели своею целью раскрыть символическое значение тех или иных явлений природы, скрытую в ней божественную мудрость, моральные уроки, которые она преподает человеку. Птицы летят весной из рая на уготованные им места, большие и малые, так и русские князья должны довольствоваться своими княжениями, большими и малыми, и не искать больших, — так рассуждает на рубеже XI и XII веков Мономах. Весеннее пробуждение природы — символ весеннего праздника Воскресения Христова, — так рассуждает в XII веке Кирилл Туровский. Вся природа, с точки зрения авторов природоведческих сочинений средневековья, лишь откровение божие, книга, в которой можно читать о чудных делах всемогущего. Природа не имеет индивидуальных черт. Индивидуальность места никогда не описывается. Природа имеет значение только постольку, поскольку она дело божие или воздействует на людей засухой, бурей, холодом, грозой, ветром и т. д.

Однако еще в XV веке в изображении природы намечаются новые черты: буря в природе как бы вторит бурным изливаниям человеческих страстей; тихая окружающая природа соответствует умиротворенному безмолвию подвижника. Пейзаж приобретает новое символическое значение: он уже символизирует собой не мудрость бога, а самые душевные состояния, как бы аккомпанирует им.

В XVI веке в «Казанской истории» мы найдем описания страданий русского войска от жажды на фоне изумительного описания жаркой безводной степи.

В XVII веке роль пейзажа еще более подымается, и здесь он приобретает конкретные местные черты. Описание природы Сибири в сибирских летописях не может уже относиться к другой местности, кроме Сибири. Даурский пейзаж в жизни Аввакума есть именно даурский пейзаж, и

вместе с тем это описание природы Даурии имеет уже все функции пейзажа, свойственного литературе нового времени. Он служит своеобразным обрамлением для душевных переживаний самого Аввакума, подчеркивает его смятенное душевное состояние, живописует титаничность его борьбы, его одиночество, создает эмоциональную атмосферу, пронизывающую весь рассказ.

Вместе с тем с того времени, как герои литературных произведений «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своих должностных положений, описываются как обычные люди, а не как князья, бояре, воины, святые, иерархи церкви и т. д., их всё теснее окружает быт. Этот быт плотнее всего обступает героев невысокого положения. Он помогает созданию тех все усложняющихся обстоятельств, в которые попадают герои литературных произведений, объясняет их мучения и служит той сценической площадкой, на которой разыгрываются перед читателем их страдания от окружающей несправедливости.

Быт проникает даже в чисто церковные произведения. С этой точки зрения особенно показательны два церковных произведения, которым литературоведы присвоили название «повестей»: «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть о Ульянии Осорьиной».

«Повесть о Марфе и Марии» в сюжетной своей основе — типичное сказание о перенесении святыни из Царьграда на Русь, но этот сюжет вставлен в раму сугубо бытовых отношений. Перед читателем проходят местнические споры мужей обеих сестер, бытовая обстановка длинного путешествия, погоня за чудесными старцами и т. д.

Так же как и в «Повести о Марфе и Марии», в «Повести о Ульянии Осорьиной» идеализируется «средний человек» — вполне «бытовая личность».

Ульяния внешне ничем не примечательная женщина: она родилась в семье служилого человека; как и все в те времена, она выходит замуж очень рано, в шестнадцать лет; муж ее — также обычный служилый человек. Ульяния рождает ему детей, ведет все «домовное строение» с помощью многочисленной челяди. Ее окружает семья — муж, свекор, свекровь, дети. Ей не только не удается осуществить своего заветного желания постричься в монахини, но порой нет даже возможности посещать церковь.

Идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов. Она идеализируется в своих хозяйственных распоряжениях, в своих отношениях к слугам, которых она никогда не называла уменьшительными именами, не заставляла подавать себе воды для умывания рук или развязывать свои сапоги, а всегда была к ним милостива и заботлива, наказывая их «со смирением и кротостию».

Она идеализирована и в своих отношениях к родителям мужа, которым она кротко подчинялась. Она слушает и своего мужа, хотя он запрещает ей идти в монастырь. Свекор и свекровь передали ей в конце концов ведение всего хозяйства, увидев ее «добротою исполнену и разумну». И это, несмотря на то, что она потихоньку обманывала их, правда с благочестивыми намерениями. Не обходится в доме и без крупных конфликтов: один из слуг убивает ее старшего сына.

Прядение и «пяличное дело» рассматриваются в ее жизни как подвиги благочестия. Ночная работа приравнивается к ночной молитве: «Точно в прядивном и в пяличном деле прилежание велие имяше, и не угасаша свеща ея вся нощи».

Соединение бытовых подробностей с идеализацией придало последней особую убедительность, пленившую в свое время и В. О. Ключевского. Его известная лекция о «Добрых людях древней Руси» (1907) была составлена отчасти и на основании «Повести о Ульянии Осорьиной»;

свидетельствуя тем самым об особой художественной силе этого первого приобщения быта к литературе.

Думается, что и «Житие» протопопа Аввакума в той его части, в какой оно связано с житийной литературой, развивает традиции именно этого типа житий — житий, пронизанных бытом.

В XVII веке совершался процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы нового времени. Причина этого — в общеисторических переменах, позволивших В. И. Ленину отнести к XVII веку начало «нового периода русской истории».⁵ Эти общеисторические изменения были связаны с обострением классовой борьбы и повышением роли народа во всех областях общественно-политической и культурной жизни страны.

В литературе XVII века, в ее демократической части, как бы отражающей то наступление низов, которое выразилось в XVII веке в массовых городских и крестьянских восстаниях, есть своеобразные «прорывы в будущее», как бы отдельные предчувствия открытий, к которым придет литература XIX века. К таким своеобразным «прорывам в будущее» принадлежит в демократической литературе XVII века открытие ценности человеческой личности самой по себе, независимо от ее официального положения на лестнице феодальных отношений.

Человек, изображенный в произведениях демократической литературы, не занимает никакого официального положения, ибо его положение очень низко и «тривиально». Это просто страдающий человек. При этом он окружен горячим сочувствием автора и читателей. Его положение такое же, какое может иметь или имеет сам простой читатель. Он не поднимается над читателями ни своим официальным положением, ни ролью в исторических событиях, ни какой бы то ни было моральной высотой. Человек этот отнюдь не идеализирован. Напротив! Если во всех предшествующих средневековых стилях изображения человека этот последний был приподнят над читателем, представлял собой в известной мере отвлеченный персонаж, витавший в каком-то свеем, особом пространстве, куда читатель в сущности проникнуть не мог, то теперь действующее лицо выступает вполне ему равновеликим, а иногда даже униженным, требующим жалости, а не восхищения.

Этот новый персонаж лишен какой бы то ни было позы, какого бы то ни было ореола. Это опрощение литературного героя, доведенное до пределов возможного: он наг, если же и одет, то в «гуньку кабацкую», он голоден, не имеет где преклонить голову, не признан родными и изгнан от друзей. Натуралистические подробности делают эту личность совершенно падшей, «низкой», почти уродливой. Но замечательно, что именно в этом стиле изображения больше всего выступает ценность человеческой личности самой по себе.

Этот человек всегда умен. На самой низкой ступени падения он сохраняет чувство своего права на лучшее положение. Он иронизирует над собой и окружающими, он вступает в конфликт с окружающей средой. Но его борьба лишена внешнего героизма. Он описывается вполне бытовым языком. Он сам говорит этим бытовым языком. Опрощение человека ведет к изображению всех грубостей быта, описываемых также грубо. Сам автор не занимает позы проповедника, не поучает читателя. Он с ним беседует как с равным.

Человеческая личность эмансипировалась в России в XVII веке не в пышных одеждах людей, завоевавших себе в жизни высокое положение, не в ореоле славы, не под эгидой удачи, а в образе несчастного, погибшего, страдающего человека.

⁵ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 137.

И этот художественный метод изображения человека был предвестием великого гуманистического начала, лежащего в основе русской литературы XIX века с его живым сочувствием ко всем «униженным и оскорбленным», ко всем, кто страдает и кто не смог найти себе места в жизни.

5

Здесь не место объяснять всю сложность изменений, охвативших литературу XVII века на пути ее движения от средневековья к новому времени. Одним из ее величайших достижений было узаконение художественного вымысла, создание первых произведений, в которых действовали вымышленные герои с вымышленными именами в вымышленных обстоятельствах. С этим связано появление собственно литературных жанров, не отягощенных никакими практическими функциями, не предназначенных ни для чтения в церкви, ни для делового употребления. Появляется стихотворство, драма, переводятся приключенческие повести, окончательно оформляется жанр историко-бытовой повести и т. д.

Это появление чисто литературных форм и жанров сопровождалось характерным явлением: обилием пародий. Долго сдерживаемый юмор нашел себе выход в этих вполне несерьезных поделках, в этом вполне «бесцельном», с точки зрения сурового и серьезного взгляда на литературу предшествующего времени, жанре.

Демократические писатели XVII века забавлялись созданием пародий на челобитные, судопроизводственный процесс, лечебники, азбуки, дорожники, росписи о приданом и даже богослужение. Вместе с тем в литературу вступали разные «прохладные» и потешные сюжеты, различные забавные повестушки и описания приключений героев.

Все эти внешне «несерьезные» произведения были очень «серьезны» по существу. Только серьезность их была особая и вопросы в них стали подниматься совсем иные, не те, которые волновали торжественную политическую мысль предшествующего времени или проповедничество церковной литературы.

Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII века, была связана с социальными проблемами своего времени. Авторы непритязательных демократических произведений XVII века начинали интересоваться вопросами социальной несправедливости, «безмерная» нищета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их «босота и нагота». Впервые в русской литературе грехи этих людей вызывали не осуждение, а симпатию. Безвольное пьянство и азарт игры в «зернь» вызывали сочувствие или сострадательную усмешку. Беззлобие в отношении одних оборачивалось величайшей злостью против других, которые «внидоша в труд» бедных, «черт знает на что деньги берегут» и не дают есть голым и босым.

Новый герой литературных произведений не занимает прочного и самостоятельного общественного положения: то это купеческий сын, отбившийся от занятий своих родителей (Савва Грудцын, герой повести о Горе Злочастия, герой повести о купце, купившем мертвое тело), то это недовольный своим положением певчий (в «Стихе о жизни патриарших певчих»), то спившийся монах, то домогающийся места иерей и т. д. Отнюдь не случайно появление в литературных произведениях XVIII века огромного числа неудачников или, напротив, героев, которым, что называется, «везет», — ловкачей вроде Фрола Скобеева или благородных искателей приключений вроде Еруслана Лазаревича. Эти люди становятся зятьями бояр, они легко женятся на царских дочерях, получают в приданое полкоролевства, переезжают из государства в государство или оказываются на необитаемом острове. Их неустроенность, фатальная их не-

удачливость или, напротив, необыкновенное счастье позволяют развивать сложные и занимательные сюжеты совершенно нового типа.

Представления об удачливости или неудачливости героя развиваются параллельно с представлениями о судьбе героя. Судьба, доля, «приставленный» к человеку бес или персонифицированное «Горе Злочастие» заступает место пышного общественного положения, которое было характерно для героя предшествующих веков. Это то новое, устойчивое начало, которое начинает играть в сюжетном развитии повествовательных произведений XVII века исключительную, важную роль.

Исследование народных представлений о «судьбе-доле» показывает, что представления родового общества об общей родовой, прирожденной судьбе, возникшие в связи с культом предков, впоследствии сменяются идеей личной судьбы, судьбы, индивидуально присущей тому или иному человеку, судьбы не прирожденной, но как бы навеянной со стороны, в характере которой повинен сам ее носитель.

В русской книжности предшествующих веков (XI—XVI) отразились по преимуществу пережитки идей прирожденной судьбы, судьбы рода. Это родовое представление о судьбе редко персонифицировалось, редко приобретало индивидуальные контуры. Эти представления о родовой судьбе служили средством художественного обобщения в «Слове о полку Игореве». «Слово» характеризует внуков по деду. Образ множества внуков воплощался в одном деде. «Ольговичи» характеризуются через Олега «Гориславича», полоцкие «Всеславичи» через Всеслава Полоцкого. Автор «Слова» прибег к изображению родоначальников для характеристики князей, их потомков, причем для характеристики их общей судьбы — их «неприкаянности».

В XVII веке с развитием индивидуализма судьба человека оказывается его личной судьбой. Судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется. Эта персонификация происходит тогда, когда внутренний конфликт в человеке — конфликт между страстью и разумом достигает наивысшей силы. Судьба отнюдь не прирождена человеку. Вот почему и в «Повести о Горе Злочастии» Горе появляется перед молодым человеком только на середине его жизненного пути. Оно сперва является ему в ночном кошмаре, а затем внезапно, из-под камня, предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и голодом, пытается утопиться в реке. Оно требует от молодца поклониться себе до «сырой земли» и с этой минуты неотступно следует за молодым человеком. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как могучая сила, которая «перемудрила» людей и «мудряе» и «досужает» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведомости чем-то посторонним, вопреки голосу разума, порождает Горе. Избыть Горе, освободиться от беса можно только с помощью божественного вмешательства, и вот молодец избавляет от Гора монастырь.

Еще более многозначителен в отношении своей сюжетной роли бес в «Повести о Савве Грудцыне». Бес также возникает перед Саввой внезапно, как бы вырастает из-под земли, тогда, когда Саввой полностью вопреки рассудку овладевает страсть и когда он перестает владеть собой. Савва носит в себе «великую скорбь», ею он «истончи плоть свою», он не может преодолеть влекущей его страсти. Бес — порождение его собственного желания, он появляется как раз в тот момент, когда Савва подумал: «... еже бы паки совокупитися мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». Так же как и в «Повести о Горе Злочастии», героя освобождает только божественное вмешательство. Савву спасает чудо, свершившееся с ним в церкви.

«Повесть о Савве Грудцыне» не случайно называют первым русским романом. В ней и в самом деле есть в зародыше многие элементы будущего романа. Это произведение могло явиться только в результате многовекового развития литературы, в результате допущения в литературу открытого вымысла, вымышленного героя, в результате полного освобождения литературных жанров от «деловых», внелитературных функций, в результате появления глубокого интереса к человеческой личности самой по себе, вне ее служебного положения и внедрение в литературу быта, бытового окружения. В «Повести о Савве Грудцыне» налицо развитие сюжета нового типа, обусловленного не событиями истории, а личными качествами героя, его страстью, его безволием, его личной удачливостью или неудачливостью.

Освобождение личности, рассматривавшейся в средневековье только как часть корпорации, и освобождение литературы от подчинения внелитературным функциям явились главнейшими предпосылками для возникновения первых предшественников русского романа.

